

ИЗЯСЛАВ КОТЛЯРОВ

Небесная весть

* * *

Болят, предчувствие болят,
уже и осознанию больно...
Боюсь того, что предстоит,
и сам уже страшусь невольно
всей беззащитности своей,
всей обреченности на что-то,
каких-то вымученных дней,
потом — посмертного почета.
Я слышу в шорохе печаль,
я слышу в шелесте угрозу...
Мне даже сбывшегося жаль,
хоть о несбывшемся тревожусь.
Я взглядом свой же взгляд ищу,
все растерял, что было свято.
Я всех беспамятно прощу,
но и прощаю виновато.
Во мне все меньше моего...
Как много прожито, но мимо
чего-то главного, того,
что вечным дням необходимо.

* * *

Еще скользит по снегу тень —
такое светлое скольжение —
не потому, что ясен день,
а потому, что прояснение.
Не помню, помнить не хочу, —
я даже память ненавижу...
Наверно, холодно лучу
впадать в заснеженную жижу.
А он впадает — ясен, чист —
в осколки льда и в россыпь снега,
а он и в лужице лучист,
хоть переехала телега.
О чем я, Господи, прости, —
такое выпало мгновенье:
ни в чем причину не найти,
а просветление, просветление...

* * *

Я и с этим, пожалуй, смирюсь:
отдаляется то, что и рядом...
Все же есть запредельная грусть,
все же есть запредельная радость.
Вот сказал и невольно притих,
даже сердце испуганно бьется.
Может статься и так, что до них
мне еще и дожить не придется.
Чьей-то радостью станет моя,
грусть моя тоже чьей-нибудь станет.
Боже мой, без меня, без меня
все потом расцветет и увянет.
Ну и пусть, ну и пусть, ну и пусть...
Есть у жизней по времени — разность,
но живет запредельная грусть,
но живет запредельная радость.

* * *

Умирают от любви к Отчизне —
вот вам и совет мой, и ответ.
Есть простор единственный для жизни,
а иного — не было и нет.
Всем дворцам дворец — родная хата
с жердяным плетением оград...
Родина ни в чем не виновата —
сам я перед нею виноват.
Здесь друзья, не ставшие врагами,
но и те — уже наперечет...
Речка меж родными берегами
прямо через жизнь мою течет.
Здесь меня любой старик уважит,
подойдет сиянием седин.
«Чай, не Гриши Котлярова? — скажет.
— Точно, Котлярова Гриши — сын...»
Здесь тропинки — линиями жизни,
от избы ведущие к избе...
Умирают от любви к Отчизне —
в этом я уверен по себе.

* * *

Оглянусь уже в безбрежном поле:
нет, не берег там, а горизонт...
Вижу только то, что вижу подле, —
всюду лебеда, вьюнок, осот.
И тропа знакомая исчезла,
заросла все той же лебедой.
Будто бы от ржавого железа,
пыль земная гонится за мной.

Сколько здесь непонятой печали
пылью возвращается опять...
Лет пятнадцать поле не пахали
и еще не думают пахать.
Где она, моя святая воля?
Нет ее, и не было, кажись...
Знаю: от чернобыльского поля
и за горизонтом не спастись.

* * *

Несбыточно — и потому желанно.
Господи, неужто — потому?
Есть в этом неразгаданная тайна,
которая и впрямь не по уму.
Еще доступным пробует казаться,
иль это я себе, наверно, лгу?
И надо бы желаньем отказаться,
но именно желаньем — не могу.
Всю безуспешность осознал как будто.
Не по судьбе, да-да, не по судьбе.
Все проще мне отказывать кому-то
и все труднее, Господи, себе.
Так почему не кажется мне странным
все то, что понимаю я давно:
желанное вдруг станет нежеланным,
коль сбыточным окажется оно.

* * *

...и вдруг оттуда скажет мать,
а эхо повторяет:
«Умей смирением смирать, —
смирение — смиряет...»
И я растерянно молчу,
ведь не скажу могиле,
что не смирения хочу,
а так, чтоб силой — силе.
Нет-нет, не смею возразить,
хотя, о светлый Боже,
лишь тридцать лет смогла прожить, —
она меня моложе.
Но кто смирение поймет,
не думая о прочем,
когда пойдет обратный счет,
меж дат, оставив прочерк?!

* * *

Радости печалющих сомнений,
свет, неволью уходящий в тень...

Сколько неслучайных совпадений,
да в один и тот же самый день.
Вроде никакого в нем азарта,
снег еще остался от зимы...
Никакого ощущенья марга,
кроме ощущения вины.
Что-то есть осмысленное в шуме,
где все так же свет уходит в тень...
Внучка родилась, отец мой умер.
Господи, в один и тот же день.
Что-то взгляд невидимо находит
и теряет, мысленно устав...
Время только так вот и приходит —
смертью жизнь иль жизнью смерть поправ.

* * *

Не торопи, не торопись, Господь.
Я праведным неправое разрушу.
Оставь живой мою больную плоть,
оставь живой болеющую душу.
Дай долюбить, додумать, дострадать,
до истины словами додышаться.
Дай эту жизнь хоть как-то оправдать,
дай этой жизнью как-то оправдаться.
Мне боль мешает, мне мешает страх,
все чаще взгляд от встречных взглядов прячу.
Я ничего не вижу в небесах,
когда бесслезно все-таки, а плачу.
Я грешен, грешен. Сам себе — упрек.
Но даже грех — уже из осознанья.
О Господи, продли мне жизни срок
хотя бы для земного покаянья!

* * *

«Пресытишься стыдом ты вместо славы», —
кого-то упрекает Аввакум.
Он знает, что и правые не правы,
и не скрывает непосильных дум.
Он даже Бога в тайных мыслях судит
и снова, снова думает о том,
что зло еще и большим злом пребудет,
хотя и уничтоженное злом.
Он прячет взор испуганно во взоре,
он знает, что лишь смертной будет жизнь
и что тому неотвратимо горе,
кто требует от камня: «Пробудись!»
Чьи помыслы не то чтобы лукавы,
но с вождельем смотрят на валун...
«Пресытишься стыдом ты вместо славы», —
кого-то упрекает Аввакум.